

ПАВЕЛ
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждая империя на пути своего развития претерпевает сильные изменения, часто связанные в первую очередь с деятельностью ее правителя. Османское государство трансформировалось в Великую империю благодаря своим легендарным султанам. Оно было основано Османом I в 1299 году и быстро начало свое расширение. После завоевания Византии в 1453 году Османское государство стало называться империей. Своего наивысшего расцвета империя достигла в период правления Сулеймана Великолепного в XVI—XVII веках. Это время справедливо называют Золотым веком Османской империи.

Сулейман смог объединить под своим правлением многочисленные народы Азии, Европы и Африки, превратив Османскую империю в сильнейшую державу мира XVI века. Австрия, Венгрия, славянские земли, Молдавия, Валахия, Польша, Венецианская республика, Архипелаг, Родос, Южная Италия, Алжир, Египет, Персия, Грузия трепетали перед Сулейманом; сотни городов и крепостей были обращены им в пепел и развалины... Он создал централизованную систему управления страной, принял единый свод законов. Именно благодаря этому, в историю Сулейман вошел также под прозвищем Законодатель. С его деятельностью связывается и культурный расцвет империи, проявляющийся в развитии архитектуры, поэзии, науки, ставшими образцами для многих народов того времени. Сам Сулейман был хорошо образован и практиковался в написании литературных трудов.

Это был прогрессивный правитель во всех отношениях, так из своего гарема он выбрал одну из рабынь и заключил с ней законный брак, чего до него никогда не случалось. Эту рабыню звали Роксолана (имя при рождении Анастасия или Александра Гавриловна Лисовская), она была славянского происхождения,

попала в плен во время многочисленных походов и после нескольких перепродаж была подарена Сулейману. Роксолана смогла достичь особого внимания султана, что породило слухи среди его приближенных о ее колдовских способностях. Она оказывала влияние даже на ход переговоров с другими государствами и могла сама принимать иностранных послов.

После смерти Сулеймана в Империи больше не рождалось таких сильных правителей и она начала постепенный упадок. Несмотря на это Османская империя оставила огромное культурное наследие, повлиявшее на развитие соседних государств и внесшее свой вклад в формирование современного мира.

Книга первая

ВОЗНЕСЕНИЕ

МОРЕ

О біле каміння серце посічу...
П. Т ы ч и н а

Назвали его Черным, ибо черная судьба его, и черные души на нем, и дела тоже черные. Кара Дениз — Черное море.

На Чорному морі на білому камені
Ясенький сокіл жалібно квилить проквіляє.
Смутно себе має, на Чорне море спільна поглядає.
Що на Чорному морю недобре ся починає.
Що на небі усі звізди потьмарило,
Половину місяця в хмари вступило,
А із низу буйний вітер повіває,
А по Чорному морю супротивна хвиля встає...

Не вздымалась злосупротивная волна навстречу турецкой кадриге¹, море было тихое, ветер начинался ежедневно после захода солнца, дул всю ночь с берега, но вода от него лишь слегка морщилась, к утру же залегала мертвая тишина на воде и в воздухе, и только после полудня задувал с моря свежий ветерок, поворачивал за солнцем, точно гонясь за ним, и умирал к вечеру вместе с солнцем.

Так и состязались здесь из века два ветра — один с суши, другой с моря — и летели над водами дальше, дальше, в беспредельность.

Кадрига кралась вдоль берега, не решаясь выйти на широкий простор этого переполненного водами исполинских славянских рек моря, непроглядного в глубинах, таинственно-неприступного, черного, как шайтан, Кара Дениз...

Три паруса — один красный, два зеленых — едва надувались, кадригу гнали вперед своими веслами галерники, на двадцати шести лавках по четыре гребца, голые до пояса, бритоголовые, в кандалах, прикованные к толстой цепи, змеившейся по дну кадриги. Ни выпрямиться, ни места переменить, спали и ели посменно на своих лавицах, волны били в них, солнце жгло, ветер рвал тело, пот заливал глаза, а вдоль помоста, проложенного над галерниками, бегал с канчуком евнух-потур-

нак — ключник, похожий на старого вола, евнух, наделенный силой тоже чуть ли не воловьей, в высокой чалме, в расхристанном шелковом халате, тряс жирной грудью, кричал до пены на губах, подгоняя гребцов, а они и сами с каждым взмахом весел, словно бросая в проклятую воду не только весла, но и всю свою силу, выдыхали из себя дико, с ненавистью: «Г-гик! Р-рык! Г-гик! Р-рык!»

Хоча й би синее море розіграло,
Хоча й би турецький корабель розірвало...

На демене-корме — натянута от солнца и непогоды навес из полосатого болого с синим — египетского полотна. Старый Синам-ага, страдая от хворей, устало поглядывает на шестерых, прикованных друг к другу, красивых молодых чернооких женщин в железных ошейниках. Кто может измерить всю глубину отчаяния старого Синам-аги, который был вынужден заковать в жестокое железо эти молодые тела, полные отчаянья еще большего! Все они похищены и пленены, а две из них еще и оторваны от грудных младенцев, все проданы на невольничьем торге в Кафе, почти нагими брошены на кадригу (пусть свежий ветер Кара Дениза золотит их молодые влекущие тела), скованы железом, чтобы спасти их от отчаянья и от нечестивых попыток найти себе смерть в волнах. Кадрига крадется вдоль берега, пробивается все дальше и дальше на юг, к благословенным землям Анатолии, к Босфору, к священному Стамбулу, где этих молодых чужестранок уже ждут в гаремах. Сказано у поэта: «Бери чаще новую жену, чтобы для тебя всегда длилась весна. Старый календарь не годится для нового года». И старые глаза Синам-аги, утомленные суетой и несовершенством мира, отдыхают на гибких белых телах полонянок. И хоть не подобает правоверному созерцать греховную женскую наготу, так пусть хоть глаза старого Синам-аги утешаются в пути созерцанием славянских рабынь, коли уж тело немощно. Ибо сказано: «Аллах хочет облегчить вам; ведь сотворен человек слабым». Да и что ему, старому Синам-аге, эти шесть пленниц? Может, он и взял их на кадригу разве что для отдохновения очей своих? Вез же в Стамбул, на знаменитый Бедестан, где продаются самые дорогие под луной рабы, молодую белотелую девчущку с волосами червонного золота, отливающими огнем потусторонним, пятнадцатилетнюю, дерзкую, непокорную и — о всемогущество аллаха единого и милосердного! — смешливую и беззаботную!

Девчущка не закована в железо, не прикована ни к кадриге, ни к несчастным своим подругам, не светит она нагим телом, а укутана заботливо в шелка, чтобы тело ее не утратило нежности; жилистый евнух-суданец, посвященный в непостижимое искусство древнего Мисра², натирает девчущку какими-то благовониями, расчесывает ее золотые волосы, а она то шаловливо

подставляет себя под это чужеземное лелеянье, то увертывается и летит к борту кадриги так, словно собирается утопиться, и Синам-ага, от ярости меняясь в лице, топает ногами, пронзительно кричит на евнуха, призывая на него страшнейшие кары земные и небесные за недосмотр, а девчужка подпрыгивает-вытанцовывает у самого борта, еще пуще изводя старого агу, да еще и припевает:

Нехай шуки їдять руки,
А плотиці — біле лице,
Нехай нелюб не любить,
Біле лице не цілує,
Нехай пісок очі точить,
Нехай нелюб не волочить...

— Настася! Не береги душу! — стонут полонянки.

Тогда златовласая девчужка заводит такую тоскливую, что и Синам-ага, даже не понимая языка, опускает голову на тонкой морщинистой шее и тяжело задумывается о своих преступлениях перед аллахом:

Ой, повій, вітроньку, да з-під ночі,
Да розкуй мої да руки-ніженьки,
Ой, повій, вітроньку, з-під темної ночі,
Да на мої ж да на карії очі...

Горы подступают к самому морю, настороженно высятся над водой. Море заглядывает в темные ущелья, в широкие устья рек и ручьев, в чащи и леса на склонах. Потом долго тянется вдоль берега плоская равнина, образованная тысячелетними выносами мутных рек, на которых древние греки искали когда-то золотое руно.

Тяжелый путь кадриги упирается в суровые горы Анатолии, вздымающиеся высоко под небесами за полосой круглых холмов, песчаных кос и пастбищ. На узких полосках земли пасутся кони, растут какие-то злаки, затем горы подступают к самому морю, острые, скалистые, мертвые, а за ними беспредельный снежный хребет, холодный, как безнадежность; холодом смерти веет от тех снегов, ледяные вихри зарождаются в поднебесье, падают на теплое море, черный дым туч клубится меж горами и водой, алчно тянется к солнцу, солнце испуганно убегает от него дальше и дальше, и на море начинает твориться нечто невообразимое.

Точно змей из страшной детской сказки родился где-то над горным горизонтом, сотканный из призрачного желтого света, припал к поверхности моря, потом круто взмыл в небо, полетел выше, еще выше, закрыл шаровидной головой полнеба и стал лакать из моря свет, жадно и торопливо прогоняя его по своему длиннющему телу в ту шаровидную голову. Бесконечное змеиное тело билось в судорогах от притока света, голова кроваво

кипела огнем, а море темнело, темнело, чернота надвигалась на него отовсюду, тяжелая и плотная, только изредка пробивалась несмелым взлеском голубовато-зеленая волна и умирала посреди сплошной черноты, и море становилось как черная кровь.

В тот короткий промежуток времени, наступивший между появлением тревожного мрака и неминуемой бурей, испуг охватил Синам-агу и его прислужников, затрепетали от страха скованные железом пленники, только галерники выкрикивали после каждого взмаха весел еще более дико и словно бы даже обрадованно, да златовласая пятнадцатилетняя Настася дерзко осмотрелась вокруг и, наверное, впервые за все время плаванья подумала, что, может, и в самом деле броситься бы сейчас с кадриги и утопиться навеки! Потому что, пожалуй, человеку иной раз лучше утонуть, чем мучиться... Если бы она знала, что лучше! Да если бы еще знала, что воды примут ее тело и успокоятся. И успокоятся ли? И выплеснут ли хоть каплю той печали, которая заполняет это море до самых высоких его берегов?

А уже падала на них буря, такая страшная, что море содрогнулось до своих глубочайших глубин, вздыбило свои воды, взревело и загремело.

«И ты увидишь, — бормотал Синам-ага, — что горы, которые ты считал неподвижными, — вот они идут, как идет облако...»

Паруса на кадриге уже давно были сорваны, теперь невольники рубили мачты, и они, падая, раздавили тех, кто, удерживаемый железной цепью, не мог спастись.

Исчезло все, умерло навеки, убитое каменной силой вознесшихся до небес водяных гор, сатанинским ветром, ошалелостью всего мира, лишь какое-то подобие жалобного стенания, превозмогая рев, свист и громы стихий, тонкой нитью неожиданно провисло над несчастными душами, может, и рождаемое теми душами, стенание, услышанное сначала одной лишь пятнадцатилетней Настасей, потом ее изгоревавшимися подругами, потом галерниками, потурнаками-евнухами и даже самим Синам-агой, потому что все они, в конце концов, были людьми, хотя и не одинаково милосердными и не одинаковых достоинств, и уже когда должны были погибнуть все, когда кадригу не могли спасти ни железнорукие гребцы, ни молитвы Синам-аги, ни неистовство потурнака-ключника, ни слезы полонянок, ни отвага златовласой девчушки, ни сам аллах, донеслось откуда-то это тонкое стенание, этот жалобный плач-стон, — родившись в душе Настасиной, он стал слышен всем людям и стихиям, подхватил кадригу, повел за собой, повел, и провел сквозь стихию, сквозь смерть и гибель, и вывел туда, где еще светило солнце, зависая над вечерним горизонтом, где море хотя и билось еще отчаянно, но уже не крушило всего на себе, где была жизнь, хотя и горькая для пленниц, но жизнь, ох, жизнь, и уже не стон-плач был в душе златовласой девчушки, а напев, тонкий и высокий, сияющий, как золо-

тая нить, и светился тот напев, как молодая девичья душа, и хотелось кричать, смеяться и плакать, заламывать руки от неудержимой радости и отчаянья за только что перенесенное: «Жить, хочу жить!»

Синам-ага бормотал из Корана: «И восток, и запад Аллаху принадлежат». Кадрига шла всю ночь вдоль темных берегов, утреннее солнце высветило глубокие морщины в древнем теле гор, за скалистыми островками море как бы проваливалось, каменные горы простлали до самой воды округлые зеленые холмы, судно очутилось между теми холмами. Синам-ага и его прислужники радостно закричали: «Богазичи! Богазичи!»³, а с широкого моря, точно радуясь спасению людей, весело погнался за галерой целый табун добрых удивительных созданий; они охватили кадригу полукругом, выпрыгивали из волн, темноспинные, белобрюхие, могучие и красивые, ловко прошивали глубину, точно живые веретена, приближались к кадриге в радостных всплесках, в веселой игре, и словно бы даже пение доносилось от них, словно бы даже человеческое что-то или от глубинных высших сил живых. Девчушка златовласая бросалась к бортам, то к правому, то к левому, захлопала в ладоши, прокричала что-то тем удивительным добрым созданиям, запела им, суданец-евнух, для которого дельфины не были в диковинку, слегка озадаченно взглянул на Синам-агу, а тот, как-то горестно вздохнув, протянул руку, показывая, чтобы евнух подал ему длинное бронзовое ружье.

Выстрел прогремел с такой силой, что казалось, уже один его звук должен был сбросить белотелую девчушку в море, но девчушка в ярких чужих шелках угрожающе нависала над самым бортом, падая и не падая в босфорскую волну, зато в табуне добрых дельфинов один, пораженный, может, в самое сердце, исчез в глубине, его товарищи ринулись за ним, чтобы спасти, но, бесильные помочь ему, вновь вынырнули и отдалялись от кадриги так же быстро, как незадолго перед этим приближались к ней, а тот, сраженный, убитый и еще не добытый, внезапно всплыл почти у самой кормы, блеснул в прозрачной воде белизной, тяжело перевалился темной спиной через буруны; умирающее животное так и льнуло к деревянному телу кадриги, и гребцы занесли весла, держали их на весу, не опуская в воду, чтобы не задеть дельфина, за которым, точно красное руно, тянулась багровая полоса крови. Дельфин не поспевал за волнообразным движением воды, высовывал спину, поднимал в муке голову, и тогда становилось видно, что есть в нем что-то от человека. Умирал как человек. Беспомощно, мучительно, тяжело. Еще раз блеснул брюхом, перевернулся, навеки исчез в темной глубине и точно звал с собой и к себе всех, кому на поверхности, под солнцем и небом, было тяжело, невыносимо и безнадежно, звал и тех галерников с обритыми головами и почерневшими, как кора на старых деревьях, телами, и женщин-полонянок, и ту пятнадцатилетнюю

золотоволосую девушку, которую Синам-ага в чайнии высокой прибыли готовил к жизни сладкой и роскошной, — но для кого же, для кого? «Не хочу! Не хочу!» — кричало все в ней, а она подавляла тот крик, загоняла его в глубь души, полными слез глазами смотрела уже и не на глубины моря, в которых навеки исчезло доброе морское существо, а на высокие зеленые берега, на птиц, вольно реявших над кадригой, на белые камни суровой крепости, опоясывающей узкий пролив, на толстые железные цепи, которыми запирались турецкие воды, отгораживаясь от свободного морского мира. Гребцы неохотно и не спеша опускали длиннющие, тяжелые, как камни, весла в воду, но кадрига плыла уже и без весел, свободно и охотно, все убыстряя бег, словно бы радовалась своему вновь обретенному умению чувствовать родной берег, возвращаться в родной город, в свой дом. А она? Начто она тут, так далеко от родного дома, начто, начто, Настася, Настася? Спрашивала сама себя, называя себя так, как называли ее мама, татусь, а слышалось другое: начто, начто? Спрашивало чужое небо, спрашивали чужие деревья, спрашивали чужие птицы, спрашивали чужие воды, — все вокруг полнилось коротким и безнадежным: «Начто? Начто, Настася, Настася?»

В последний раз слышала свое имя здесь, над морем, ибо должно было оно утонуть в море навсегда, навеки.

...И названо было море Черным.

ИБРАГИМ

Зеркала были как вода. С блеском глубинным и загадочным. Ибрагим любил зеркала и свое отражение в них. Как в детстве. Тогда он смотрелся в воду. Вода окружала остров Паргу. Маленький Георгис каждый день бегал на берег — встречал отца-рыбака с моря. Глядел на воду, видел свое отражение. Небольшого роста, ладный, остроглазый. Слишком бледнолицый для искони смуглых островитян. Перенял от них бойкость и подвижность.

А бледность, возможно, зародилась как раз оттого, что он пристально всматривался в воду. Но это его не очень занимало. Посвистывал себе и напевал, прыгая то на одной, то на другой ноге. Охотно свистел на свистульках, играл на самодельных дудочках. У соседских дочек была старенькая цитра — вскоре Георгис бренчал и на цитре. Отец пропадал в море или заливался вином по самые глаза. Сын? Кроме старшего растут еще два. Вырастут помощники. Способности? Это слово было ему неведомо. Мать приобрела у торговца, скупавшего губки по всему побережью, небольшую виолу. Приплывая на Паргу, торговец показывал маленькому Георгису, как играть ту или иную мелодию. Не для усвоения, а чтобы посмеяться над рыбацким сыном. Когда же он приплывал через месяц, мальчик уже играл услышанное лишь однажды. Как будто на острове у него был учитель.

Ибрагим ходил на берег, дожидался отца, играл и играл. Для морских волн, для безмолвных камней, для высокого неба. Часто засыпал с виолой в руках, спал под палящим солнцем, на горячих камнях, но лицо его оставалось белым. Жизнь легка и заманчива! Даже когда приходилось помогать отцу, думал так же, поскольку помогал лишь относить губки тому странствующему торговцу. Не было тогда видно ни отца, ни сына. Движутся две округлые кучи губок, а под ними мелькают две пары ног. Коричневые, жилистые, потрескавшиеся, все в ссадинах и шрамах — отца. И стройные, тонкие, как у козлика, — сына. Грек большой и грек маленький. Большой так и остался греком. Где-то ловит рыбу, достает губки с морского дна, высушивает, продает заезжим торговцам я пропивает все заработанное. Пьет неразбавленное кислое вино, как дикий фракиец. А маленький вырос и уже давно не грек, а Ибрагим-эфенди. Он красив, умен, богат и почти так же всемогущ, как и султан Сулейман. Говорить об этом излишне. В Стамбуле болтают лишь глупцы. Настоящие люди умеют молчать. Делают свое без шума. Человека вообще не слышат и не знают. Особенно же в таком городе, где говорит только история. Единственный способ, чтобы тебя заметили, — бить в глаза: уметь жить, наряжаться, показывать, кто ты есть. Ибрагим не был ни пашой, ни санджакбегом, ни бейлербегом⁴, ни визирем, но могущество его не имело границ. «Душа султана, его сердце и дух» — так прозвали Ибрагима. С Сулейманом прожил десять лет в Манисе, где султан Селим держал своего единственного сына, наследника трона, лишь изредка позволяя ему побыть своим наместником в Стамбуле, когда сам отправлялся в далекие и трудные походы, как это было шесть лет назад, во время покорения Египта. Султан Селим не любил сына, не любил он и свою жену Хафсу, дочь крымского хана, держал обоих в отдалении, равнодушен был к обычным утехам, в гарем заглядывал изредка, да и то лишь затем, чтобы войско не сомневалось в его мужских достоинствах, любил только войну, охоту, верных своих янычар. Про Ибрагима Селим знал, как знал обо всем в своей беспредельной империи. Возненавидел вертлявого грека. Возненавидел и сына за то, что тот сделал своим любимцем не воина, а какого-то вертопраха. Особенно не любил пышность в одежде, к которой Ибрагим приохотил шах-заде Сулеймана. И поэтому показалось странным, когда султан прислал Сулейману из Эдирне, куда отправился на большую охоту в начале рамадана⁵, дорогую сорочку из тонкого шелка. Валиде Хафса не дала сыну надеть ее. Позвала одного из балтаджиев, который когда-то повел себя с нею неучтиво, сказала, что прощает его и в знак прощения дарит ему дорогую сорочку. Такая сорочка приличествовала бы и самому султану. Балтаджи надел ее и в тот же день скончался в страшных мучениях. Селим прислал своему сыну отравленную сорочку! Зачем? Думал жить вечно, устраняя единственного наследника? Или не забо-

тился о достойном продолжении рода Османов, могучей лозы Османова древа? Шах-заде не спал тогда всю ночь, все допытывался у Ибрагима. Ибрагим перебирал случаи из истории. Там можно было найти еще и не такое. Но кто же может успокоить себя прошлым?

В конце рамадана умер султан Селим. Умер от болезни почек на пути из Стамбула в Эдирне, в тех самых местах, откуда восемь лет назад выступил против родного отца, султана Баязида Справедливого. Может, носил эту неизлечимую болезнь в себе уже давно и, не имея ни времени, ни надежд на получение престола, расчистил себе путь к власти убийствами своих братьев, их детей, укорочением века самому султану Баязиду. Носил в себе дикую боль, тщетно пытался унять ее опиумом, может, собственной болью мог бы оправдать и свою нечеловеческую жестокость? Жестокость к врагам уже не удивляла никого — все Османы были жестоки. Но к родному и единственному сыну?

Известие о смерти принес в Манису Ферхад-паша, бывший раб родом из Шибеника, грабитель и убийца, любимец Селима и... Сулеймана. Одного очаровал своей зверолоютостью, другого быстрым умом, песнями, беседами. За него выдали Сулейманову сестру Сельджук-султанью, принцессу, гордую своей красотой, но и она, так же, как и валиде, была в восхищении от бывшего раба.

Для Османов происхождение никогда много не значило. Только заслуги, верность, преданность и личные достоинства. Кто умел крикнуть громче всех во время штурма вражеской крепости, ударить сильнее всех саблей, растоптать наибольшее количество врагов, растолкать локтями всех вокруг, лезть напролом без стыда и совести, лишь бы только во славу аллаха и на пользу и услужение султану. Каждый нищий мог стать великим визирем, вчерашний раб — царским зятем. Ведь сказано: «Разве же у них лестница до неба?»

Паша, загоняя коней до смерти, мчал из Эдирне, чтобы принести в Манису весть о смерти султана, прежде чем об этом узнают в Стамбуле. Он торопил Сулеймана: «Быстрее, быстрее!» В столицу, в султанский дворец, пока не проводали янычары, пока стамбульская чернь не выплеснулась на улицы... Сулейман не верил. Султан мог подговорить Ферхад-пашу. Заманить Сулеймана в западню и расправиться.

Ферхад-паша падал на колени, целовал Сулеймановы следы. «Сияние очей моих! Разве бы осмелился раб твой...» Сулейман кривил тонкие губы в усмешке. Слишком много черных теней затемняло сияние самого Ферхад-паши. В царской семье хотел властвовать безраздельно, соперников не терпел. Если перед шах-заде заискивал, то Ибрагима ненавидел открыто. Называл его ржавчиной на сверкающем мече Османов.

Тогда прибыл новый гонец. Теперь уже от великого визиря Пири Мехмед-паши из Стамбула. Мудрый Пири Мехмед прислал Сулейману шелковый свиток: «Моему достославному пове-

лителю. Дня двадцать седьмого рамадана почил в аллахе все-светлый султан Селим. Смерть его скрыта от войска. Остаюсь для повелений моего достославного властителя».

Сулейман поцеловал свиток. Взял с собой Ибрагима и Ферхад-пашу Ибрагима для себя, пашу для янычар. Коней меняли через каждые три часа. Ферхад-паша издевался над Ибрагимом: «Рассыплешься!» — «До твоих похорон доживу!» — «Подумай, кому это говоришь?» — «Я уже подумал». Сулейман не различал двух фаворитов. Один — его собственный, другой — всей султанской семьи. Может, ждал, кто кого? Но Ибрагим ждать не мог.

На вершине пятого из семи стамбульских холмов Сулейман поклонился покойному султану, и первым, что он повелел, было: воздвигнуть на том месте джамию⁶, тюрье⁷ и медресе в память великого покойника. Только после этого вступил во дворец Топкапы.

Янычары взвыли, услышав о смерти Селима. Султана звали Явуз Грозный, с ним и они были грозны как никогда прежде. В знак скорби посрывали с голов свои островерхие шапки, свернули походные шатры, бросили их на землю, отказались служить новому султану. Ибо тот признавал только свои книги, выискивая в них мудрость. А мудрость — на конце ятагана. Пусть себе утешается книгами!

Сулейман терпеливо переживал смуту в придворном войске. Надеялся на Ферхад-пашу? Или на старого Пири Мехмеда? Потом велел открыть сокровищницу и стал щедро раздавать золото и серебро. Янычары притихли. Отпустил домой шесть сотен египтян, взятых в рабство Селимом. Персидским купцам, у которых Селим перед походом против шаха Исмаила забрал имущество и товары, возвратил все и выплатил миллион аспр⁸ возмещения. В науку другим и для острстки повесил командующего флотом капудан-пашу Джафер-бега, прозванного Кровопийцей. Никто не знал, что это первая месть Ибрагима. Да и сам капудан-паша не успел догадаться об истинной причине своей смерти. Забыл, как пятнадцать лет назад был привезен на его баштарду художавый греческий джавуренок со скрипочкой и как, насмехаясь, почесывая лохматую жирную грудь, прячась в тени шелкового шатра на демене, поставил он под солнцем на шаткой палубе мальчонку и велел играть. И тот играл. Может, думал, что и схватили его на берегу только затем, чтобы потешил игрой капудан-пашу? И, пожалуй, надеялся, что его отпустят к папе и маме? «Хорошо играешь, малыш, — сказал Джафер-бег, — и как жаль тебя продавать! Но что я бедный раб всемогущественного и милосердного аллаха, могу поделаться?» И он даже заплакал от растроганности и безысходности. Сказано же: кого волк схватит, того уже в лес не пустит.

Джафер-бег продал маленького Георгиса за пятьдесят дукатов богатой вдове Феррох-хатун из Маниссы. Добрая женщина не только уплатила бешеные деньги за ничтожного греческого мальчугана, она не жалела денег на самых дорогих учителей; и за пять